

«ЭТО ОНА»

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Крис Ножи

Это она

<https://litres.ru/74059314>

SelfPub; 2026

Аннотация

В мире Артура светит только одно солнце — его Аня. Уничтожить ее обидчиков или пожертвовать собственной свободой — ничтожная плата за улыбку возлюбленной. Черда жестоких расправ приводит Артура в тюремную «одиночку». На сеансах с психологом он выстраивает безупречную легенду, чтобы защитить Анюту любой ценой.

Три убийства, двое влюбленных и один человек за решеткой. Говорят, от чистосердечных признаний становится легче, вот только есть ли правда в его исповеди?

Содержание

Как все началось?	4
Что стало точкой отсчета?	21
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Крис Ножи

Это она

Как все началось?

Дайте подумать.

Говорят, начинать нужно всегда с самого интересного: с убийства или, скажем, со сцены секса. Надо сразу дать понять зрителю, читателю или слушателю, с чем ему придется столкнуться. Поэтому я, пожалуй, начну с рассказа про дробку. Вот вы, например, как обычно мастурбируете? Не смущайтесь, в конце концов, все люди дробчат, нет ничего более естественного, чем мастурбация; в конце концов, у нас есть руки, и они дотягиваются до гениталий не просто так.

Наверное, если у вас есть компьютер, то вы вводите во «Вконтакте» в поиске видео какой-нибудь запрос вроде hot sex (да знаю я, что вы не такие, но смотрите ведь, а?), может, иногда добавляете к запросу словечки вроде solo, play with toy или вставляете между хот и секс слово group, расставляете ноги пошире, устойчивее ставите стопы Девушкам, думаю, удобнее закидывать ноги на стол, потому что так таз слегка приподнят, я это немножечко знаю, ну, может, не всем так надо, но вроде так приятнее. Быстрее, что ли Вот, значит, включаете ролик и, передвигая курсор, выбираете са-

мый сладкий момент.

Для меня самым сладким моментом была она. Самым, самым сладким. Приторным настолько, что сводит челюсти. Может быть, вы делали так в детстве — мама купит сгущенку к чаю, а ты ныряешь в банку, и металл скребет волнистую крышку, и суешь в рот всю ложку, и мажешь уголки рта, губы липкие, и хочется еще и еще, просто взять и вылакать банку языком. Так было с ней, понимаете? Ел и не мог насытиться.

Честно говоря, я сладкоежка жуткий: поэтому, когда мастурбирую, представляю ее.

Кстати, сколько раз вы дрочите? Вы извините за некорректный, даже грубоватый вопрос, но, кажется, обстановка подразумевает некоторую откровенность. Я просто хочу обозначить, что я дрочу очень много, особенно теперь, когда, выражаясь буквально, потерял доступ к телу. К прекрасному, к слову, телу, я боготворил его.

Не хочу вводить вас в заблуждение словом «много», дрочу я не прям уж несколько раз, я бы сказал — от одного до пяти в особо тоскливые дни, потому что я думаю о ней постоянно, а когда думаю о ней, то мастурбирую. В «одиночке» это делать весьма комфортно; знаю, что сейчас камеры оснащают видеофиксацией, но в моей ничего такого нет, поэтому я волен мастурбировать когда хочу, не смущаясь глаз сотрудников колонии. Впрочем, я не стесняюсь их и так.

Коридорный проверяет камеру раз в двадцать минут: заглядывает в глазок, и если я сижу на постели, то, как вы по-

нимаєте, он не просит подняться вежливо. Справедливости ради, на кровати меня не ловили, да и ложусь я на шконку редко. Обычно я сижу на табурете и дрочу себе, глядя в окно и представляя ее; за этим меня и палили. Когда мастурбируешь пять раз на дню, какой-то да придется на проверку. Сначала сотрудник открывает «кормушку» и кричит вроде «Лицом к стене!» Тогда ты должен подняться и встать раком, подняв руки вверх, как птица крылья, вывернув ладони наружу.

В первый раз я стоял, упираясь макушкой в стену, и с члена капало, я не успел убрать — все-таки, несмотря на мою сексуальную активность, я не какой-то извращенец, однако и стыдиться мне точно нечего. Да и потом — пусть привыкают. Им на мой член еще много лет смотреть: статья сто пятая, часть вторая, пункты «а» и «д», означает «надолго». Меня, разумеется, оприходовали дубинками: били сильно, по всему телу, молотили тупо и от души, и я лежал калачиком, прикрывая голову, чтобы не разбились очки — они, видите, чуть съехали, дужка все-таки скособочена, — и потом еще сутки просто спал, потом пришел врач. Потом я сидел пятнадцать суток, но мастурбировал и там, у меня, наверное, повышенный тестостерон и уровень любви к ней, потом коридорным надоело за мной подглядывать, да и наказания за дрочку в уставе нет, есть нарушение распорядка и формы одежды, сами понимаете, когда брючины болтаются на щиколотках, то это портит эстетический вид, но меня это мало заботит. Я

вообще как-то с равнодушием отношусь к тому, что происходит вокруг. Вы, наверное, читали мою характеристику, дословно не помню: индифферентность к окружающей обстановке, отсутствие эмпатии, патологическая фиксация. Навешали ярлыков. А я нормальный, правда, даже обычный, просто чувак, которого в школе дразнили «четырёхглазым» из-за очков, но очки я ношу, потому что читаю много.

Здесь, кстати, удивительно богатая библиотека. Много классики: Гюго, Достоевский Мне очень импонируют образы Клода Фролло и Рогожина, понимаете, о чем я? Помните, в «Соборе Парижской Богоматери» было: «Любить ее ножку, ручку, терзаясь ночи напролет на каменном полу кельи»? А прекрасное в «Идиоте» — на полу сброшено богатое шелковое платье, раскиданы цветы, ленты, а в ногах, в ногах — помните: «В ногах сбиты были в комок какие-то кружева, и на белевших кружевах, выглядывая из-под простыни, обозначался кончик обнаженной ноги: он казался как бы выточенным из мрамора и ужасно был неподвижен» «Это ты? — спросил его князь Мышкин, подразумевая простое «ты убил?», и Рогожин ответил: — Это я».

Это я.

Классику люблю со школы, здесь же заучиваю наизусть. Вы не поверите, но сидельцы зачитываются Достоевским, особенно «Преступлением и наказанием» Федора Михайловича и «Воскресением» Льва Николаевича, поэтому внизу, на желтых страничках, остаются жирные следы от грязных

пальцев, а переплет насквозь пропах табаком. Курево тут кончается быстро, потому что сигареты используют как валюту, как-то они обмениваются им по трубам. Они это называют странно вроде «мокрой дороги» или «по-мокрухе», вы уж простите мне, я не знаю точно — я не курю, да и не общаюсь ни с кем. Мне живая речь вообще не требуется: я много разговариваю с ней, моей звездочкой, поэтому к вечеру словарный запас иссякает полностью. Даже в полтора часа прогулки я тоже общаюсь с ней, только уже у себя в голове.

Чему вы улыбаетесь? Моим диалогам со звездочкой или тому факту, что зэки отправляют курево по канализации? Сейчас, слышал, в других зонах вваривают решетки прямоком в трубы, но мы находимся далеко от цивилизации, поэтому мне, к сожалению, тоже приходится сушить толчок, иначе не пройдет «конь» по «трассе». Это дело нехитрое, просто вонь в камере стоит такая, что глаза слезятся, и мне не нравится запах. Поэтому через меня стараются гнать в самом крайнем случае, потому что я, ну Вы же читали — индифферентен к окружающей обстановке, а если меня бить, то могу и ответить. В «одиночку» не попадают за покладистый характер.

Скажем так, я просто не очень сговорчивый.

Еще добавлю, что распорядок тут соответствует мечтам и чтению. Смотрите. В шесть утра мы заправляем кровати, и я обращаюсь к ней: «Доброе утро, звездочка». Теперь на кровать садиться запрещено, но можно стоять или сидеть на та-

бурете. Это мне подходит. Светлеет здесь поздно, и на небе, сквозь решетку под потолком, видны звезды — вот, значит, я смотрю на самую яркую и произношу: «Доброе утро, звездочка». Самая яркая — это Сириус, но мою звали Анечка. Вообще, заметьте, какое красивое имя: Анна для малознакомых, Аня для близких и Анюта — для меня. Пока темно, я пользуюсь тем, чтобы поговорить со своей звездочкой вслух. Я говорю, как сладко мне с ней рядом; я упоминал, что сладкоежка жуткий — и я обожаю мою звездочку до диабета. Я обязательно рассказываю, что люблю ее больше всех на свете и прошу вспоминать обо мне хотя бы раз в день; этого мне достаточно. Мне кажется, или вы плачете? Понимаю, самому грустно: моя звездочка так далеко, но я поднимаю руку к потолку и представляю, что касаюсь ее.

От мыслей о бархатистости кожи у меня встает, член упирается в жесткую робу, я сажусь на табурет, ввинченный в пол, и, глядя на небесное полотно через дыру под потолком, мастурбирую. Между ног — уже не бугор, палатка, поэтому я быстро расстегиваю пуговицу, спускаю собачку молнии, опускаю резинку трусов под яйца. Она не давит, слава богу, потому что это обычные семейники, которые шьют сами эки, и мне вполне комфортно. Член каменный, он клонится к животу, и сначала я разминаю головку — крупную, горячую и нежную на ощупь. Простите за анатомическую подробность, но когда я думаю о ней, то теку, как девочка; большой палец проходится по щели уретры, собирая смаз-

ку, и втирает ее в уздечку. Опускаю руку, сжимаю плотным кольцом, пережимая синие реки вен и оттягивая кожу, и нить уздечки натягивается добела, контрастирует с багровой от крови плотью, я выдыхаю сквозь зубы, не отрывая глаз от неба, и звезды складываются в конкретный образ.

У нее покатые, полные плечи, усыпанные веснушками, и я выучил расположение каждой, я каждую целовал; на ребрах появляется складка, когда она извивается подо мной, груди у нее — господибожемой! — тяжелые, идеально ложатся в ладонь, и я перекаत्याваю крупный сосок в пальцах, не выдержав, прижимаюсь ртом, и она запрокидывает голову, выдыхает: «Ах», и я втягиваю сосок в рот, посасываю, погибая от наслаждения, потому что слаще твердых сосков только мокрый клитор, я тоже попробую его, только позже, потому что мой член уже в ней и мой таз движется быстро — шлеп.шлеп.шлеп, — и я отрываюсь от груди, чтобы взглянуть в глаза и умереть.

Рука ускоряется, я почти дергаю, чувствуя, как вздуваются под пальцами вены, и ребро ладони шлепается о лобок — шлеп.шлеп.шлеп, — теплая сперма брызжет на пресс, и белесые капли застревают в жестких завитках дорожки от пупка. Какое-то время я сижу, упираясь лопатками в жесткую спинку, и звезды дрожат в глазах, боль рождается под ребром, прошибает тело насквозь иглой, и я хочу ее настоящую. Увидеть, заправить непослушную кудряшку за ушко — у нее, знаете, от виска выются волосы, — чтобы она при-

жалась к ладони щекой, и я бы этот миг носил в своем сердце до самой смерти.

Утром разрядка всегда наступает быстро, потому что напряжение копится всю ночь. Мне это только на руку — простите, чуть не пошутил: «в руку», — действовать надо как можно скорее: в 6:30 открывается «кормушка», и на подносе выдается жидкая каша и холодный чай. Очень хочется сладкого, поэтому после завтрака я снова думаю о ней. Мама, конечно, высылает мне конфеты, сгущенку, но слаще мыслей о ней нет ничего, только она сама.

Во время завтрака сорок минут играет радио. В основном это проповеди, потому среди заключенных много верующих. Можно сказать, что я верующий тоже: у меня есть моя путеводная звезда, и я поставил ее на божничку, чтобы жаться ртом к ризе во время моих молитв.

В 7:15 ненадолго начинают работу розетки, и можно согреть воду кипятивником или включить электробритву. Я обычно пью кипяток с щепоткой заварки и подьедаю вафли, иногда, если есть ингредиенты, делаю дембельскую кашу: крошу печенье и заливаю сгущенным молоком. Получается приемлемо, но я бы еще подсластил поцелуем, как делала она, когда у меня оставались сдобные крошки на губах. Это правда, клянусь вам: она тоже любила меня; я сделал для этого все: тренировался, чтобы иметь тело атлета, много читал, чтобы было о чем поговорить, готовил, чтобы она кормила меня с ложки, смеялся, что я веду себя как ребенок; жил,

дышал.

Убивал даже.

Я делал для нее все.

Вы, наверное, зададитесь вопросом: уж не тронулся ли я, раз зову ее своей звездочкой? Может быть, это какое-то фетишистское прозвище? На самом деле, конечно, нет: просто она яркая и громкая, она сияла ярче всех, громче всех смеялась и ругалась, и такая она заметная, что пройти мимо невозможно: хочется схватить, спрятать в ладошках, чтобы грела меня одного; и я схватил, я спрятал, и она была моя; я все для этого сделал.

Через сорок пять минут проходит утренняя проверка: я встаю, наклонившись лицом к стене, подняв руки за спиной и растопырив пальцы. Я мог бы врубить крутого и соврать, что я-то, в отличие от других, кверху жопой не торчу; честно признаюсь, пару раз случалась лень, и тогда бывал бит и серьезно бит, лупили сильнее, чем за дрочку. Все же это устав, но слава богу, был только бит, ведь подумайте: это очень доступная для швабры поза. Здесь, слава богу, таким промышляют редко, уж не знаю почему. Пресс-хат тут нет. Возможно, сотрудники еще не растеряли человечности, впрочем, кто знает, что происходит в соседних камерах? Думаю, обществу стоит все же обратить внимание на закрытые учреждения, так как, к сожалению, маргинализированные слои действительно страдают из-за табуирования темы тюрьмы.

Вы сейчас по ту сторону системы и, наверное, скажете: так

вам и надо.

Может быть, вы и правы. Судить все же не мне. Для этого в системе есть особые люди, и все отличается от передач вроде «Федерального судьи»: никто не кричит и не лупит молотком, призывая к порядку. Есть, считаю, и схожесть — например, черная мантия и морщинка промеж бровей, когда хрупкая девушка-судья глядит в строчки «убийство двух и более лиц с особой жестокостью» и затем видит на скамье подсудимых интеллигентного мужчину, застегнутого на все пуговицы и поправляющего очки в прямоугольной оправе; только серьга-гвоздик в ухе дает намек на бунтарство, Аня любила цеплять ее зубами. Серьгу, потом, естественно, сняли, и на мочке осталась маленькая точка. Вот я стоял, в черной водолазке с горлом, и, наверное, судья ожидала увидеть пасть в пене и клыки в крови, но встретила спокойный взгляд и скромную улыбку. Я всегда уважал вежливость, и улыбнуться в ответ мне показалось уместным. У судьи даже голос немного дрогнул, когда она начала заседание.

После знакомства с материалами дела жалость исчезла.

Итак, через сорок пять минут после завтрака я изучаю трещины в бетонном полу и громко произношу: Денисов Артур Александрович, 1977 года рождения, осужден по статье 105, часть вторая, пункты «а», «д».

Буквы складываются в «Ад», и да, скажу я вам, именно так ощущается каждый миг без нее. Вот я вроде считаю себя начитанным человеком, а подобрать названия этой больной,

извращенной нежности не способен. Знаете это чувство, когда смотришь на котенка и сжимаешь зубы, потому что хочется прижать к груди и раздавить, чтобы хрустнули косточки? Тогда вы на одну тысячную можете представить, что я ощущал, глядя на нее. Это больше, чем просто физический голод по касаниям, я мечтал стать ее душой, чтобы только я и только для меня; я мечтал украсть смех, чтобы он щекотал лучистой искрой под кожей; мечтал украсть вдох, судорожный, похожий на всхлип, он срывается с языка, и я ловлю его ртом, когда оказываюсь в ней; мечтал украсть улыбку — я обожал целовать ее губы, пока она улыбалась.

Отвлекся. На нее очень легко отвлечься — в конце концов, когда светит солнце, других звезд не видишь. Вот так, мордой в пол, я передвигаюсь до дворика, где проходит прогулка. В шансоне часто встречается образ неба в клеточку; это вот тот случай, так как дворик — это помещение, может быть, два на два метра, и, если взглянуть вверх, то заметишь решетку колючей проволоки. Прогулка занимает полтора часа, и все полтора часа я думаю о ней. Честно говоря, я мог бы и вздрочнуть прямо во время прогулки и даже делал так однажды. Представляете, накрутил себя настолько, что передернул пару раз и кончил в угол. Но обычно я так не поступаю, потому что здесь чертовски холодно и обычно я пишу ей письма в своей голове.

Так я и справляюсь со своей безнадегой. Иначе точно сойду с ума. Как бы это вам описать Закройте глаза и представь-

те ночь — и представьте, что ночь навсегда. Так я себя чувствую без нее, ведь статья сто пятая, часть вторая, пункты «а» и «д» — все это означает надолго.

Навсегда.

«Анюта, солнце мое и жизнь моя», — письмо свое я начинаю так, потому что чаще всего обращался так; прижимался к мягкому и горячему телу, вел носом по линии челюсти, мурлыкал в ушко, улыбаясь от счастья: «Анюта, жизнь моя, знаешь ли ты, что делаешь со мной?» Она смеялась, проказница, потому что прекрасно чувствовала тяжесть поводка в руке, и он казался ей легче пера. Анечка пользовалась властью, и я позволял, ведь так сложилось, что без звезды мрак уничтожит мир, и нужно, чтобы каждый грелся у своего светила. Если бы понадобилось, я бы отдал ей сердце — раздвинул бы ребра, схватил бы бьющийся орган скользкими от крови руками и подал ей: «Ешь. Топчи. Это теперь твое». Впрочем, я так и сделал. Вы читали «Данко» Горького? Наверняка, это ведь школьная программа. Данко вынул сердце, и оно осветило путь из тьмы, и когда все кончилось, он упал замертво, и никто не заметил этой жертвы.

Я тоже умер, но попал в ад. Пункты «а», «д», вторая часть, статья сто пятая. Убийство двух и более лиц с особой жестокостью.

Значит, я сочинял ей письма в голове; иногда она даже отвечала, и тогда мысленно разыгрывалась целая сценка. Например, я подхожу сзади, пока она моет посуду, чуть скло-

няюсь и утыкаюсь лицом в шею, мои руки сами собой ложатся на талию — когда она рядом, мои конечности повинуются не мне, а хозяйке, они тянутся трогать и ласкать, — и вот я бормочу в кожу, что завтрак здесь отвратительный, и она ведет плечом, сбрасывая мурашки, смеется над моими жалобами, и этот смешок отражается в груди дрожью, и хочется положить его на язык, чтобы он таял шипучей конфетой.

Я хочу остаться там навечно.

После медицинского осмотра начинается работа. В основном мы что-то шьем: форму для сотрудников госорганов, постельное белье, футболки, джинсы — в общем, всякое. Механический труд помогает в развитии мелкой моторики, а однообразный механический труд — в развитии воображения, поэтому иногда мне приходится сидеть, скрестив ноги, чтобы стояк спал хоть чуть-чуть, я же все-таки не извращенец, чтобы дробить на людях.

Я всегда думаю о тебе, звездочка моя.

Затем — обед. Знаете, почему звездочка смеялась, когда я жаловался на кашу? Потому что с тюремным питанием тяжело поддерживать форму, особенно мышцы. Белка невероятно мало, нет витаминов, я переживаю за зубы и бицепс. Сейчас я вешу девяносто четыре килограмма, а был сто три, с моим ростом центнер мяса — это оптимально. Мне всегда хотелось выглядеть на фоне звездочки огромной горой. Фигура у нее сложена обалденно, как песочные часы, видите, как обрисовал ладонями? Это она. Большая грудь с розовы-

ми сосками, мягкий животик с глубоким пупком, крупные бедра — такие, что, когда она сжимала мое лицо, я чувствовал, как близок к раю. Понимаете? Я наклонялся, хватал под коленки и поднимал, Анята упиралась ладонями в плечи и кричала, чтобы я немедленно отпустил, а иначе уроню; но я — центнер мышц и мяса, и она казалась мне легче своих веснушек. У нее бледная кожа в веснушках разного размера, я каждую знаю наперечет; волосы — бледно-рыжий водопад по спине течет, представляете кайф какой на кулак намотать?

Сделаем перерыв — у меня снова встает, мне нужна минута на подышать.

Так.

Что там

Да, я описывал жрачку. Ну. Трехразовое питание, в обед, наверное, весь объем блюд едва занимает литр. Кабану, как я, — на вкус. Переживаю за зубы и мышцы, и это, полагаю, нормально — заботиться о здоровье в таких условиях. Попрошу маму, вроде как-то за деньги договариваются о витаминах, их, говорят, можно по показаниям через медчасть выдавать. Мне очень нужен кальций. Мама сейчас начальник ЗАГСа, она, насколько известно, уже занесла несколько сумм, и скоро к обедам добавится протеин и порция мяса. Хотя бы так.

После обеда — уборка камеры, радио, свободное время. Думаю, вы уже догадались, чем я занят. Наверное, среди со-

трудников тюрьмы я должен был получить соответствующее прозвище, но, насколько известно, не получил; как-то повелось, что все зовут по имени, Артуром. Полагаю, смешные клички не прилипают к страшным людям. Дело в том, что ко второй части с новым судом добавится еще и первая, покушение. Там, честно говоря, даже рассказать нечего: сокамерник любил поболтать, и я заткнул ему рот кипятильником.

Второй раз розетки включают в 20:30.

Тощие пальцы вцепились в мои предплечья с такой силой, что оставили белые следы. Все — пушинка, пробивающая скалу: я тогда был сто три килограмма, это сейчас я похудел. По дряблему подбородку стекала яркая кровь, на синяющие губы вынесло осколки гнилых зубов, он сипел и булькал, как вода на плите, я буквально его кипятил. Смотрел на округлившиеся глаза, не отрываясь, и видел немую мольбу во взгляде.

Но я, как уже говорил, не очень сговорчивый.

Затем — отбой, в десять часов. Камера у меня с глухой дверью, вы понимаете, наверняка, что имею в виду. Я слышал, что бывают еще открытые, где чисто решетки, клетка, если на их манер, и свет в коридоре горит круглые сутки, поэтому я даже немного с сочувствием к сидельцам отношусь. Спать нужно строго головой к двери, укрываться одеялом полностью нельзя. Уснешь разве здесь. В целом я сплю плохо, поэтому очень себя выматываю перед тем, как лечь. Делаю какие-то упражнения с собственным весом: отжимаюсь,

боксирую. Так, больше для поддержания, и так исхудал; стараюсь не тратить энергию попусту. Лишь бы лечь и отключиться.

Она снится мне всю ночь.

— Из вашего рассказа выходит, что вы очень любили ее.

Психолог прерывает мой мечтательный монолог; специалист сидит в тени, и я легко могу представить лицо Анюты, поэтому мне мерещится милый мой голос; я говорю мой, потому что все в ней мое, и голос, и его тон, и непослушный волос, и сладкий стон. Сейчас чудится снова, и это опасно, потому что я однажды поймал себя на том, что галлюцинирую ее голосок: будто я спрашиваю, и она отвечает.

Любил. Какое ничтожное словечко, какое маленькое, не емкое, не могущее вместить ту суть, что я имею в виду, когда говорю о ней.

— Больше жизни.

Молчание давит сильнее стен, и я слышу, как ручка скребет бумагу.

— Все же мы здесь не за этим, — произносит она, продолжая записывать. — У меня не так много времени, чтобы слушать

Я знаю, что мне положен специалист на адаптационный период, к тому же я сунул кипятильник в глотку сокамернику и держал, пока кровь из его горла не стала горячей. Но я также знаю, что на одного тюремного психолога приходится около ста человек, поэтому выжму из этого сеанса все. Я пе-

ребиваю.

— Но вам придется, — я улыбаюсь белозубо и обезоруживающе. — Говорят, от признаний на душе становится легче.

— Хорошо, — голос звучит глухо, будто она старается говорить тише. — Начнем с признаний. Почему вы убили ее?

Я прикусываю язык, и медь наполняет рот, пот выступает на висках, когда начинаю вспоминать; я вытираю лоб рукавом и замечаю, с какой силой дрожат руки, прячу ладони в карманы робы.

— Согласен. Я расскажу. Спрашивайте.

Что стало точкой отсчета?

Прежде чем начну, хочу сделать оговорку: я и Аня росли в деревне, и сейчас это может звучать дико и, знаете, смешно — колхозно, короче говоря. Вообще не понимаю такого снобизма по отношению к селу и сельчанам, в конце концов, так жили ваши бабушки и дедушки и, возможно, мамы и папы; так уж получилось, что так жили и мы. У меня, знаете, к низеньким домикам, к яркой зелени, к шумной реке с высокими волнами, к лавочкам у каждого двора — вот к этому всему у меня ностальгические приступы теплоты, и, если уж вам это покажется нелепым, что ж, слава богу, вы вольны закрыть ушки в этом месте.

Итак, вы спросили меня: что же стало точкой отсчета?

Ответ простой.

Ненависть.

На этом можно и закончить, но, чтобы понять природу этой ненависти, важно узнать, как вообще у нас с Аней все случилось. Само слово «ненависть» очень плоское, и в таком виде его к нам не применить.

Так вышло, что я старше всего на два года: эта разница незаметна в тридцать лет или в детстве, в твои двенадцать и ее — десять, и вы мчите купаться на речку. После, вечером, когда мамыши загоняют детей мыть ноги и ложиться спать, вы сбегаете в шалаш на краю деревни, где она варит кашу

из песка, а ты поджигаешь сухие ветви, чтобы отгонять комаров. Вам просто весело вместе, вот и все. Ее гнать домой было некому: мать у нее умерла от туберкулеза, и отец, поговаривают, даже ел собачье мясо для профилактики. Хотя мне все-таки кажется, что это с перепоя и потому что другого на столе не держалось: если он бывал трезв, то перебивался шабашками, клал печки, помогал с пристроями, и тогда мог купить хлеба или творога. Ключевое слово — «если», так как случалось редко. Вообще вроде как еще помогала им бабка, которая жила в селе рядом, но помогала неохотно, потому что сына ненавидела, а внучек считала нагулянными.

Они жили очень бедно, дома у них, что называется, шаром покати: я помню пугающую пустоту — кровать на пружинах, почему-то без матраса, просто с одеялами поверх; одна в комнатушке, вторая, на которой спит Аня, — на веранде. Там почище, хоть и холодно зимой; в самом же доме всегда ходили в обуви, даже летом, и земля на полу забивалась в подошву шлепок и между пальцев. К окну прибоченился деревянный стол, выкрашенный синим, без клеенки, весь в глубоких ранах от ножа, забитых дочерна помидорным соком и кожным салом. Плиту, может, продали, а может, вообще никогда не покупали. Старшая сестра Ани, Лена, жарила и варила на печном шестке, поэтому и в жару бывало натоплено до духоты. Знаю, что питались они нездорово: в основном Елена варила, жарила и запекала картошку, рыбу, которую их старик ловил на речке, летом еще делала салаты

из огурцов и помидоров.

Она же какое-то время загоняла Аню домой — я до сих пор с какой-то щенячьей тоской вспоминаю, как она, босая, в разорванном сарафане, с коленками, покрытыми дорожной пылью, вытирает чумазое лицо и ревет докрасна, потому что мы остаемся играть в санжо (у вас эта игра могла по-другому называться), а ей приходится идти спать. Но Лена работала в райцентре в ночную, и поэтому старалась уложить Аню до смены. Она стояла на трассе — через нашу деревню проходит федеральное шоссе, — ловила попутку и уезжала до самого утра. Возвращалась Лена раним-рано, когда женщины выгоняют скот в стадо, и, как мне однажды обронила мама, Лена шла походкой кавалериста. Затаскали Елену, короче говоря, эти честные заработки; между старшаками шептались, что с Леной — запахло и вообще берет она дорого, а все деньги у нее забирает отец: как-то она выскочила из дома вся в крови и разодранной одежде. Мне об этом рассказал Дима, соседский мальчик: он все своими глазами видел, поэтому плакал и умолял меня пойти побить палками отца девочек, чтобы тот больше не трогал Лену.

Однажды Лена не вернулась ни с рассветом, ни с закатом. Искали ее несколько суток, даже приглашали планеристов из городского авиаклуба, и мы, ребятня, с восторгом разглядывали синие крылья планеров. Они кружили над лесом, но так ничего и не нашли.

Той же ночью меня разбудил стук в окно. Я вылез из-под

ватного одеяла, распахнул ставни, и свежий воздух ласково коснулся щек. В палисаднике, примяв грудью высокие кусты георгинов, встав на цыпочки, стояла Аня. Звезд тогда на небо высыпало — мамочки! Тьма стояла глухая, непроглядная, где-то на соседней улице лаяли собаки и кричали девочки, но у соседей свет уже погас, окна чернели во всех домах рядом. Я поежился, предчувствие нехорошего заставило загривок покрыться мурашками. Аня тянула ко мне руки, глаза у нее блестели, как звездочки, я взялся за тонкие, как прутики, запястья и втянул в комнату. Она села на подоконник, деловито отряхнула пятки, даже с какой-то злостью хлопая по коже, и только потом забралась внутрь. Залезла на постель, подтянув колени к груди и закрыв их футболкой, задышала, как бык перед броском. Я спросил, что случилось, и Аня закусилла нижнюю губу и замотала головой, но подбородок у нее дрожал так, что я почти чувствовал эти слезы, которые она скрывает.

Я понял: Лену нашли.

На следующий день гудела вся деревня. Тело Лены обнаружили в камышах близ соседнего села, у воды, в одном только сланце; перед смертью ее насильовали и били. С каждым часом история обрастала подробностями, и детали становились все страшнее и страшнее: даже будучи мелким, я легко представил себе бледный труп с налипшей ряской на пожелтевшей от синяков коже. Продавщица в магазине сказала дяде Андрею, что над Леной надругались, сунули

внутри ножом и разрезали ткани фрикциями, и вот неясно — жива она тогда еще была или нет. Я слова «фрикции» не знал, но дядя Андрей выругался так, что мне стало не по себе, поэтому я шустро забрал свои покупки, печенье и лимонад, и тут же ретировался, боясь услышать больше. Мы с Аней спрятались в шалаше и весь день варили каши: я таскал землю и воду, Аня кухарила в старой, дырявой кастрюле. Иногда получался суп, иногда — тесто на пирожки, и я приносил новую провизию. Уже после заката нас нашла мама. Она у меня вообще мировая: ругать не стала, наоборот, накормила настоящими пирогами с капустой, и Аня тогда ночевала у нас.

Мы сидели на веранде под жужжание сепаратора, ели пироги, запивали парным молоком, я смотрел на Аню и думал, что мы будем дружить всю жизнь.

Только потом всевышний щелкает пальцами, у тебя внезапно ломается голос, тебя вытягивает ввысь, и весь становишься вдруг сложен из углов; и тогда между вами вдруг пролегает пропасть. Всего раз ты передаешь ей ковш с ледяной водой, и, когда кожа касается кожи, появляется смущение: оно вдруг бьется током, и сердце останавливается навсегда. Аня шумно пьет, вода стекает по подбородку, она подает ковш обратно, а я не беру, я стою, опустив руки вдоль тела, и не понимаю, куда себя деть от стыда, не понимаю, откуда вообще этот стыд взялся и почему кончики ушей горят. «Чиво?» — спрашивает она, изгибает светлую бровь, а я и

рад ответить, только сам не знаю чиво.

Я бы сказал, что ненарочно, но, ладно, может, это и специально, но с тех пор я стал чаще зависать с пацанами. Мы дружили втроем: я, Дима и Антон. Это вообще простые, как две копейки, парни. Дима почти каждое утро ходил на рыбалку и вообще знал все клевые места. Его отец работал ветеринаром — прививал скот, кастрировал хряков, и Дима даже хвастался, как однажды сунул руку корове в желудок через дыру в боку. Я, сын библиотекаря, чуть не сблевал от брезгливости — у нас дома из животных держали только кошек, — Антон тоже нездорово побледнел, даже из губ кровь ушла.

Понятно, что компания в целом собралась большая. Звездочка ходила гулять со всеми, и мы с ней вроде как хорошо общались, и хотя я надеялся, что будем еще дружить, я все равно завел себе правило не смотреть на нее и не касаться, потому что мне сразу становилось плохо и начинало ныть сердце. Я даже плакал — помню, как вжимался сопливым носом в подушку и орал, чтобы хоть куда-то эмоции деть.

Занятий в деревне немного. Днем играли в футбол на школьной спортивной площадке, подтягивались и выделывались друг перед другом на турниках, потом, закинув мокрые от пота футболки на плечи, топали до речки. Там всегда шумно, народу много — детей с бабушками, девчонок, загорающих прямо на конотопке. Звездочка тоже купалась, но как будто бы стеснялась чуть себя, потому что все время об-

матывала бедра полотенцем, хотя, на мой взгляд, она всегда выглядела здоровой и красивой. Если я стал угловатым, то она — округлой и мягкой, и меня это бесило так, что я скрежетал зубами. Я бы на нее не только полотенце, но и плед бы накинул.

Вечерами молодежь собиралась в полосе — так называли место в яблоневых посадках, где обустроили лавочки вокруг сложенных квадратом кирпичей. Там зажигали костерок, садились, прижимаясь друг к другу плечами. Честно, даже не назову точно, чем занимались. Иногда Антон приносил гитару, и Дима пел, очень красиво получилось. Голос у Димы вообще — взрослый, низкий, бархатный. Девчонки с ума сходили. Иногда травили какие-то шутки, тогда смеялись до колик, а сейчас даже не вспомню ни одной. Я петь не умел, языком чесать тоже не любил, просто молчал и пялился исподлобья на Анюту.

Она сияла уже тогда. Смех у нее — самый громкий, звонкий, веселый; и она сама — ужасная болтушка, это просто невыносимо: сидела себе, лепетала что-то с девчонками, а я заживо гнил. Бывало, пили пиво: именно там я однажды нажрался до беспамятства, и утром мама меня нашла в подстилке за ночь листве. Парни ржали, я краснел, потому что пьяный наговорил ерунды Анюте, причем каких-то злых слов, что она испортила мне жизнь, и расплакался, упав перед ней на колени и повесив голову. С тех пор не пил, разок только потом перед армией случилось. Мне не понравилось, что

все, что я копил в себе, нашло выход через такие уродливые выражения. Я уже тогда много читал и мог бы, думаю, подобрать фразы поточнее. А может, и нет. Это сейчас я так считаю, тогда же я будто вообще не понимал, что это за болезнь души такая и отчего мне больно, что Аня не обращает на меня внимания.

Постепенно к компании прибились городские, которые приезжали на лето, — Леха, Игорь и Максим. Их, блять, я на дух не переваривал. Вот, знаете, некоторые люди никогда не купались в лужах, и по ним это видно. У костра сидеть им не нравилось — одежда дымом потом воняет; пиво они пили из стекла, брали «Жигулевское» или зеленое «Рижское», когда Дима и Антон спокойно разливали по стаканам пузатую трехлитровую банку. Жутко еще раздражало, что Дима, простая душа, забирал чебурашки, чтобы сдать. Это принижало и меня; хотя с гордостью я договориться мог. А вот с той тьмой, что только начала во мне цвести, — нет.

Макс всегда что-то покупал Ане, просто, блять, всегда, возвращался из сельпо и обязательно, сука, вручал шоколадку, стаканчик пломбира или коробочку сока; меня аж внутренне трясло от злости и кишечник скручивало в тугий узел, как только я видел Макса. Напряжение между нами росло, Максим чувствовал, что балансирует на острие — и что скоро свалится, вспоров набитое маменькиными кашками пузо и вывалив собственные кишки. Когда я проходил мимо, то задевал плечом; когда он шутил, я сидел с каменным ли-

цом и сжимал челюсть так, что желваки ходили; когда играли в футбол, мяч всегда попадал ему в висок, бедро или мягкий живот. Мне хотелось сделать ему больно. По-настоящему больно. Например, прыгнуть на колени, когда он сидит на лавке, вытянув ноги. Уже тогда, наверное, стоило бы задуматься: почему? Нормально ли представлять перед сном, как забиваешь мальчика до смерти голыми руками?

Антон подшучивал надо мной и даже посвятил песню, называл «Ревность».

Рифмы придумал тупые: «ревность» он ставил в ряд с «душевность» и «плачевна». Дима ржал до слез, мне же хотелось заткнуть уши — я очень любил поэтов серебряного века, и такое стихотворение оскорбляло и Гиппиус, и Брюсова.

— Чушь, — спокойно ответил я. — Какая, нахуй, ревность? Мы дружим с детства.

— А я не называл имен, — резонно заметил Антон, пожав плечами и поставив гитару на колено, провел большим пальцем по струнам. — Трунь.

Антон был прав.

Слава богу, злость нашла выход без последствий. Для меня, я имею в виду; уже тогда, наверное, должно было стать понятно, что люди, которые вредят Ане, в опасности.

Шел 1995 год, время двигалось к армейке — и мое, и Антона, и Димы. Пропасть между мной и Аней разрослась катастрофически и обратилась бездной. Анюта уже собрала важные клише — звезда школы и душа компании. Олимпиадни-

ца, отличница, староста класса — все вот это, короче. Танцы они там какие-то ставили в доме культуры, в КВН играла, вела праздники в школе; и вот он я — я уже тогда носил очки, но учиться не любил, только читать; просто хмурый троечник, который на хую вертел эту всю самодеятельность. Дело, конечно, не только в этом; и не в разнице в возрасте даже, а в том, что я все еще прикидывался ее другом; я верил, что однажды ночью она так же постучится в окно, залезет в комнату, отряхнув пятки, уснет, положив голову мне на плечо. Понимаете? Но другом я тоже оказался плохим, там как будто по взгляду моему все понятно; по тому, как избегаю касаний, как меняется тон, когда обращаюсь к ней. Оттого и мучился страшно. Вот я думал: скажу. Наберусь смелости, взгляну в глаза, произнесу: «Анюта, ты мне нравишься очень».

А она скажет: «А ты мне нет. Мне Максим нравится».

Можно назвать меня трусом, но без признания у меня хотя бы оставалась надежда, ведь если она ответит, то не будет у нас больше дружбы.

Вообще ничего больше не будет.

И Максима не будет.

Я просто пойду и убью его.

Обычно по вечерам мы собирались парнями и затем по пути заходили за девчонками; за Аней приходилось сворачивать в переулок, и на это немного обижалась Наташа, которой приходилось переться до перекрестка одной, хотя ее дом

как раз был по дороге. Я, знаете, деревенские вечера обожаю: мир окрашивается в закатный оранжевый, листва становится темной, ветерочек такой теплый, ласковый, комар жужжит над ухом. Идешь во всем новеньком, чистеньком, потому что полвечера наряжался, прикидывал, в чем Аня заметит, что подчеркнет бицепс, а что — пресс, обязательно подвязываешь на бедра мастерку, вдруг кто-нибудь замерзнет, какая-нибудь Звездочка, начнет меркнуть, дрожать от холода, а я ей — раз, и накину на плечи, застегну молнию до самого подбородка. Все, никто не увидит! Закину на плечо и уволеку в шалаш — пусть хозяйничает и варит каши, как раньше.

Обычно мы садимся на лавочку у серого дощатого забора и ждем минуты две. Дима подтягивается на калитке и кричит во двор: «А-а-анька!» В это время она уже вышла из бани, и от нее пахнет земляничным мылом и травяным шампунем; и я сижу на лавке, вытянув ноги, и жду, когда Анюта появится. Волосы у нее чуть влажные всегда и кажутся огнем, потому что становятся чуть темнее; она обычно носит джинсовый костюм и простую хлопковую футболку с орлом на груди. Я сглатываю. Сейчас Анюта выйдет, и я бы подхватил на руки, покружил и больше бы никогда не отпускал. Я слышу торопливые шаги и хмурюсь. Снова это предчувствие нехорошего заставляет мобилизоваться, напрячься, я сажусь, выпрямив спину. Аня всхлипывает, выбегает за ворота.

— Привет, ребята, — подбородок у нее дрожит, и она вся

— комок ярости, — идем скорее.

Я только успеваю заметить растрепанную косу, надорванный ворот футболки и, блять, след от зубов над верхней губой. Она резво шагает вперед, размахивая руками, и мы с Димой переглядываемся.

По молодости я даже не задумывался, почему в доме живут трое, но кровати только две.

Ты прикрывала бедра не от стеснения. Ты пряталась.

Он успел? Сколько лет было Лене, когда отец сделал это с ней? Я иду след в след, опережая компанию, злоба пенит кровь, но мозг работает как часики, ясно и предельно чисто, никакой пелены перед глазами, как в книгах пишут, — сам себе удивляюсь, как так? Думаю, это потому, что я уже знаю, что делать, решение окрашено красным; я даже не сомневаюсь, не придаю моральной оценки. Таких фильтров у меня попросту нет. Никакой паники или шока, мой голос остается спокойным, даже участливым.

— Что случилось?

Она яростно мотает головой, поджав губы. Я догоняю, хватаю за руку, у нее ледяная кожа.

— Аня

Анюта упрямо молчит, смотрит в сторону, ноздри раздуваются. Ни за что не скажет. В могилу унесет, но слез не покажет. Я разгибаю девичий кулачок, поглаживаю ладонь, мне хочется переплести пальцы, как-то утешить, я вообще не понимаю, что делать; злость на отца сменяется темной нежно-

стью, липкой, как мед, и Аня увязнет в ней, я знаю, наступит день. Наконец, она выдыхает, высвобождает кисть, качает головой — уже не трясет яростно, просто мотает из стороны в сторону: «Ничего». Но я это «ничего» знаю. Это сегодня ничего, а завтра он и вторую кровать выбросит; завтра он все твои пятерки в печи сожжет, а тебя за пол-литра «Столичной» на трассу выставит.

Улыбаюсь ей: ничего, так ничего, если хочешь, чтобы ничего навсегда осталось, я же, Аня, сделаю.

Все для тебя сделаю.

Почти весь вечер слежу за ней — впрочем, когда случилось иначе? — пытаюсь понять намеки в улыбке, изгибе брови, но она смеется громко, весело, как всегда, впрочем, сидит по ту сторону костра и о чем-то шепечет с Наташей. Может быть, он еще не наделал делов, может быть, не успел — значит, успею я. Костер уже догорает, и, когда Дима подбрасывает засохший сук, выбрасывает искры во тьму между нами, оранжевые колючки отражаются в стеклах очков. Антон мучает гитару, Дима — спорит с Лехой, что за щучкой надо к большой реке идти, наша — так, одни караси. Максим крутит в ладонях «Рижское», иногда поглядывая на девчонок, и я представляю, как вжимаю его лицом в горячую золу. К середине вечера зову Наташу на пару минут — отходим дальше в лесок, ночь сегодня глухая, луна круглая, бледная, но в посадках из-за листвы темно; глаза, привыкшие ко мраку, едва-едва узнают очертания волос и лица напротив. Я дви-

гаюсь тенью, Наташа спотыкается о пни, когда останавливаемся, зажимает папироску между средним и указательным, приставляет фильтр к уголку губ, оранжевый огонек вспыхивает. Прошу у Наташи Анюту забрать с ночевкой к себе, она безразлично жмет плечами.

— Да мы че с ней, подружайки, что ли, закадычные? Так, общаемся.

— Наташ — голос у меня падает, становится мягким, бархатным. — Батя у нее надрался опять, страшно за девчонку.

Мои приемчики на Наташу не работают; мне восемнадцать уже, и я знаю, как детей делают, но здесь упрямство поднялось — как со стеной общаюсь. За другую ведь прошу, не о ней забочусь.

— Он и раньше пил, че изменилось-то? — Наташа щурит глаза, догадливая.

Со стороны дороги слышны редкие проезжающие машины, в ногах стрекочут насекомые, где-то у виска неприятно пищит комар. Я хлопаю пятерней по щеке, немного заминаюсь. Ну вот что я ей скажу? Почему беспокоюсь? И почему беспокоюсь о другой? Отвожу взгляд в сторону, кусаю губы. Да все изменилось, Наташ, сегодня ночью вообще все изменится, я злое задумал — и не отступлю. Вдали слышу пьяные крики ребят, приваливаюсь плечом на яблоню.

— Предчувствие нехорошее у меня, — давлю на жалость, — Лену ведь помнишь тоже, знаешь же, какие слухи ходили. Наташа в итоге сдается — не сразу, конечно, пришлось

помучить, подойти ближе, обнять, царапая щеку дужкой очков, промурчать в шею, какой она добрый, светлый человек, почти спасительница всего народа. Она шуточно бьет в грудь, глаза закатывает, ластится ко мне, как кошечка, но я отворачиваюсь от поцелуя; мы возвращаемся. Аня подчеркнута не глядит в нашу сторону, уставилась в огонь, задумалась, коленки сжала. Прощаюсь со всеми, прохожу мимо Макса, задеваю плечом, вот тебе, сука, чтобы пиво выронил; Дима и Антон переглядываются опять — ухажу рано, значит, задумал что-то, но следуют за мной все равно.

По дороге как бы между прочим бросаю, куда идем, и с Антона сходит пот; сначала он останавливается, потом хватается руками за рукава, в конце концов, с выражением полной безнадеги плетется за нами — и против друзей идти не может, но и участвовать претит. Дима только кивает, даже как-то довольно слишком: «Понял, сделаем».

Какие мысли крутились в моей голове тогда? Должно быть, мои руки дрожали, а сам я трясся, размышляя о том, какое я чудовище? У Достоевского хорошо в «Преступлении и наказании» это написано, помните, после сна, в котором Раскольников плачет по убиваемой лошади, герой восклицает мысленно: «Неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп... буду скользить в липкой, теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью... с топором...» Вот так, наверное, и должно быть с нормальным человеком. Он ведь еще и не

убил никого, а уже мечтает, как бы кто ему помешал; думает о крови — и тут же о том, как начнет трястись; совесть он щедро присыпает логикой, что старуха — вредное, что убить — благое, и кто знает, может, на том и успокоился бы, но тут — Лизавета, и наступает наказание. Ведь настоящее преступление Раскольникова в том, что он тварь, возомнившая себя имеющей право; он убил и не смог этого вынести.

Мне же все равно.

Я подпрыгиваю, срывая с акации семена — мы их звали свистульками, — вычищаю семечки и думаю об Ане. Почему вот она даже не взглянула в мою сторону, когда вернулся с Наташей? Мы же друзья. Вот интересно: я чувствую, что Наташе я небезразличен, даже вижу это — по взглядам, по тому, как меняется голос, когда я рядом, как жеманничает. А Аня видит? Видит ли Макса, который глаз с нее не сводит, видит ли меня? Вот исполнится ей восемнадцать — просто скажу в лицо: «Аня, ты не пугайся, но я тебя люблю. Давай строить семью». Вот и все, и неважно, что она ответит и как поступит дальше: я ее закину на плечо и унесу домой, спрячу за всеми замками, буду ночи над ней стенать: «Мое, мое, мое!» А сейчас главное — не дать пропасти между нами стать шире.

Так меня и качало — от страха признаться до решимости с потрохами сдаться.

В доме Ани горит свет. Замызганные занавески закрывают лишь часть окошка, вверху видно, как одна-единственная

лампочка под потолком, забрызганная известкой, качается на черном проводе. В бледном свете луны все кажется мистическим, как в «Мастере и Маргарите», когда ведьмы собрались на шабаш, помните? Листва шуршит, где-то в траве пробегает кошка, и Антон вздрагивает от каждого шороха, нервничает, его даже немного потряхивает — он вообще, честно говоря, парень с нежной душой поэта и при виде крови падает в обморок. Одним словом, Раскольников: трясется весь, но остается, потому что уже присыпал поступок логикой наказания за насилие. Его мы с Димой оставили стоять на шухере: когда я и Дима перемахиваем через забор, то слышим, как Антон ходит взад-вперед и причитает: «Ой-ей Ой-ей»

Двор зарос высокой крапивой и полынью, к скошенному крыльцу ведет истоптанная тропка; на штaketнике висят эмалированные тазы и пластиковые ведра, и мне чудится, что кто-то глядит на нас из темноты.

— Шу! — останавливается Дима, прижимает палец к губам, кивает куда-то в сторону, я глаза щурю: в кустах полыни спит тело, кажется, дядя Андрей, но вроде спит крепко, наверное, в алкогольном обмороке. В дом заходим тихо: на столе — банки с разведенным спиртом, глиняные крынки с бражкой; початая красная пачка «Примы» и помидоры в сахаре, на заветренных дольках подгнила кожица и потирают лапки мухи; на кухне жарко, натоплена печь, на шестке шипит картошка в огромной чугунной сковороде. Отца нахо-

дим в комнатушке: Анин батя лежит на боку, продавив пружины кровати до самого пола, подперев отекавшие, красные щеки сухим кулаком в трещинах. Вокруг рта собралась мерзкая пена слюней, и я морщусь от омерзения. Дима деловито снимает тряпку с низенькой стопки одежды с соседней кровати, рвет на квадраты. Я узнаю Анину блузку.

Уже и вещи ее сюда приволок, уебок.

— Это чтобы Ну. Руками голыми не трогать, — поясняет Дима, встает над кроватью, опираясь руками на изголовье. Говорит он тихо, вполголоса, хотя ясно, что тут орать над ухом можно. — Нам бы связать его. Дергаться будет.

Веревок, конечно, нет, и осматриваться нечего; открываю окно — створки скрипят, и я морщусь снова, хотя этого товарища не разбудит и выстрел из ружья. Имени его не называю нарочно — брезгую, такому даже кличку жалко собачью дать.

— П-с, Антон.

Тень отделяется от лавки, парень перешагивает длинными ногами упавшую калитку палисада, давит стопой зелень, он нескладный и угловатый, как кузнечик, ему приходится склониться, чтобы продраться сквозь ветви сирени.

— Не проси! — шипит он, как картошка на шестке. — Я в этом не участвую!

Высовываюсь почти, хватаю за предплечья, помогая забраться внутрь, Антон кривит рожу: «Фу, как Аня в такой грязи живет?» Спрыгивает с подоконника, отряхивает зад-

ницу, ворчит под нос: «Бля, все в пепле».

— Аня тут не спит, — говорю. Сам гляжу на постель, где разлегся батя, и сердце гулко ухает. Надеюсь, что не спит; надеюсь, не успел, тварь, и пальцем коснуться. Дима тем временем возвращается с ножом, раскаленным докрасна. Крутит в пальцах. Олимпийку он скинул еще на кухне, остался в серой майке-алкоголичке, мышцы у него сухие, сильные, даже завидно — я-то весь мясцом оброс. Антон занимает место в ногах, я становлюсь над головой, осторожно толкаю мужика в плечи, чтобы перевернуть. Он хрипит, как хряк, раскрыв рот, из уголков слюна стекает по щекам. Дима встанет напротив паха, зажимает зубами «Приму», пыхтит в воздух и пробует лезвие большим пальцем; Антон прижимает лодыжки, я — запястья. В темном желтом свете лампы наши тени вытягиваются и искажаются, становятся похожими на чертей.

— Не то вы творите, нелюди, — чуть ли не плачет Антон, костяшки пальцев белеют на фоне грязной и волосатой кожи.

— Согласен, не то, — кивает Дима. — Мы свиням обычно резинку надеваем, и яйца сами отваливаются, — я бросаю недовольный взгляд, когда он говорит «свиням», с ошибкой, по-деревенски просто. — Ножом не резал, теорию только знаю, — он выпускает синий клуб дыма в потолок, — над-резаешь, потом выдавливаешь

— Каво выдавливаешь?.. — блеет Антон, и мне чудится, что на его голове появляются седые волоски.

— Яичко.

Антон стонет страдальчески, Дима подступается к кровати, сдергивает брюки, и мужик под нами издает короткое и возмущенное «Э!», но не просыпается. Поднимается смрад грязного тела, кислота ест глаза, аж слезятся, и я смаргиваю, в кучерявых жестких зарослях на бедре лежит толстый отросток, прикрытый крайней плотью и весь в катышках от трусов. Тяжелые яйца расслабились от жары, сморщились, редкие волоски топорщатся в стороны.

— Дима, ты не понял, — я говорю тихо, стараясь не дышать. — Я хочу, чтобы он сидя ссал. Как девочка. Ясно?

— А-а-а-а, — друг стряхивает пепел и снова водружает сигарету на место, в уголок губ, зажимает зубами, и она двигается вверх-вниз, когда он говорит. — Так давайте ему просто член отрежем? Я об этом сызмальства мечтаю.

— Нет, умоляю! Живого резать? — взвизгивает Антон, уходит в фальцет, но хватку не расслабляет. — С ума сошли?

— Ты, Тоша, не паникуй раньше времени. Это же целая операция, — Дима деловито упирает руки в боки. — Сымай с него носки, в рот сунем. Ремнем перетянем, не выплюнет. Он орать будет — боже мой. Потом — заходили когда — удочку видел. Тоха, сгоняй, смотай леску. Рано взялись, — кивает на ноги, бросает окурок под ноги, тушит подошвой. — А я пока еще раз нож прокалю.

Когда все готово, заталкиваю в рот пыльные носки, грязные настолько, что подошва твердая, их положи — они сто-

ять будут; пихаю ткань вместе с куском блузки, стараясь не задеть зубы; седая щетина шоркает кожу, старик просыпается, начинает брыкаться, шары из орбит лезут, бешеные, красные с перепоя, он мычит; я тут же затягиваю ремень, уплотняя кляп, гляжу в лицо с улыбкой. Он брыкается всем телом, пружины плачут жалобно; Антон держит руки и трясется, я перехватываю запястья, киваю на лодыжки.

— Пошел.

— Господи, за что мне это — Антон снова цепляется за ноги, перехватывая их у Димы, и тот схаркивает на пол густую после курева слюну, зажигает новую папиросу, опирается стопой на стальную рейку кровати, кивает с жуткой доброжелательной гримасой пациенту. Руки и ноги крепко прижаты к постели, он старается освободиться, но нам по восемнадцать, а ему — под сраку лет; мы все лето на турниках и на футбольном поле, он — за бутылкой. Хмель с него сошел мгновенно; он мычит, дергает тазом, и член смешно прыгает в стороны, вверх и вниз; и Дима прижимает коленом бедро, накрывает отросток тряпкой, подкручивает вокруг мошонки леску, чтобы пережать сосуды, тянет с силой, мужик дергается. Да разве это боль? Боль потом будет! Антоха жмурится, причитает, отвернувшись, но знаю, что ненадежно это — отрубится, зуб даю. Хряк под нами мычит так громко, что, наверное, на весь дом слышно, глядит умоляюще и слезливо. Понимает, должно быть, к чему идет все. Под кожаной полосой ремня пенится слюна, я прижимаю кисти сильнее к

подушке, перевозжу взгляд на Диму, киваю медленно — и он кивает в ответ.

Приглушенный крик тонет в размокших тряпках, он выгибается дугой, воздух воняет жженым салом и палеными волосами, кожа под ножом дымится, черное от сажи лезвие оставляет обугленные края. Дима ведет острием и оттягивает головку, держась лоскутом блузки, оранжевый огонек сигареты рисует полосу, когда он от усердия сжимает зубы, проталкивает нож глубже. Кровь шипит на остывающем лезвии, запекается; простынь становится черной. Дима тянет член с мошонкой кверху и подрезает короткими отрывистыми движениями. Мужик бьется в судороге, крик оканчивается хрипом, тело колотит дрожью, и я глаз не вижу, только налитые багровым белки, слышу грохот — Антон вытянулся у кровати, подбородок свернул к плечу.

— Откуда крови столько? Ты же вроде леской перетянул, — сетую я, крепче прижимая руки, вены на предплечьях вздулись от натуги, я сжимаю челюсть.

Пациент наш лупит пятками одеяло, бьет тазом в стороны, воздух из глотки сквозь ткань выходит тихими всхлипами; он хрипит. Дима равнодушно пожимает плечами, придерживает причиндалы рукой с ножом, стряхивает пепел с «Примы», седая пыль сыплется во влажную дыру, оставленную на месте члена, и он продолжает резать. Я вроде должен испытывать что-то сродни сочувствию, должен сказать: «Дима, остановись», только я сам мясника в этот дом привел; только

я смотрю на закатившиеся яблоки и думаю о следе от зубов на губе у Ани, и хочется на лицо этому страдальцу плюнуть. Старик дергается и обмякает, булькает что-то в горле или в носу — не разберешь, Дима пилящим движением обрезает лоскут лобковой кожи и бросает на грудь крошечный орган, завернутый в мокрый от крови кусок блузки.

— Все, — Дима давит сигарету прямо в месиво. — Кастрировали. Этим, — кивает на член, — собаку накормлю.

Я, наконец, отпускаю запястья и вытираю грязные ладони о штаны. Все заняло меньше пяти минут. Даже не вспотел.

— Кровью истечет.

— Ну — друг неопределенно пожимает плечами. — Надеюсь. Я, конечно, прижгу Нож дяде Андрею поди подбросим?

Машу рукой: «Делай что хочешь», склоняюсь над Антоном, подтягиваю под мышки, оттаскиваю на кухню и сажаю на табурет так, чтобы он привалился лопатками к стене, его подбородок лег на грудь. Черпаю воды из бака — теплая, жаль, — набираю в рот, прыскаю Антону в лицо, тот моргает часто, мокрые ресницы дрожат. Краем уха слушаю: не убил бы Дима кастрата нашего, даже меня оказался злее. Я вроде как должен испытывать облегчение или что, но не знаю — для меня ничего необычного не случилось, вонь только в носу застряла. Просто Аню теперь никто не тронет. Я вернусь из армии, я возьму ее за руку, поцелую костяшки, ладонь поцелую — шею, плечи, животик мягкий, бедра,

свожу колени, встаю, Антона шлепаю по щекам. Давай, родной, просыпайся.

Уходим так же, как пришли, не скрываясь, Антона еще у ворот сгибает пополам, полощет. Дима «Приму» за ухо закинул, стоит, потешается. Я привалился плечом к столбу, руки в карманы сунул, вот бы на речку сейчас, отмыть кровь с себя.

У меня тогда даже в голове не шелкнуло, что я человека убил.

Просто помог Ане.

Умер он на следующий день от кровопотери. Врачи сказали, что, если бы скорую вызвали, то, наверное, и спасли бы — даже канал для мочеиспускания наружу бы вывели, и он бы жил. Ссался сидя, как девочка, но жил. Всего-то до соседей добежать и позвонить фельдшеру. Только Аня заходила разок в кухонку, чтобы проверить печь, в комнату не заглянула даже — что, наверное, странно, у нее же вещи там были, а она точно переодевалась, — но так она сказала участковому.

И все ей поверили.

Потому что все знали, что в этом доме отец насиловал дочь.

Дядю Андрея таскали, конечно, в ментовку, но решили, что пьяный он так поступить не мог, но пятнадцать суток за пьянство дядя Андрей для порядка отсидел. В деревне попроще с этим, что ли, по крайней мере было — до ДНК-экспертиз и всего такого. Помню, как брат брата прикончил —

соседи слышали, как тот его кулаками забивал. В петлю су-нул — все, закрыли как суицид. Помучив людей допросами и не найдя садистов, уголовное дело спустили на тормозах, может, решили, что это месть заезжего за Елену; да и недолго им оставалось нас искать: товарищ прапорщик нам уже дышал в затылок. С Наташей как-то мы пересеклись взглядами — она с тех пор смотрела с настороженностью, — я подмигнул весело, и та испуганно отвернулась. Но ничего никому не сказала — и я догадывался почему.

С Аней об этом не говорили. Я боялся, что она прочитает во взгляде, что это сделал я, и хуже того, что сделал это для нее. Опека определила ее к бабке, и та стала следить, чтобы Аня вечерами не шаталась по улицам. Наказывать, как мне кажется; Аню она не переваривала. Днем я ошивался рядом с ее новым домом, и иногда Анюта выходила на лавочку. Она сидела, грея ноги под солнышком, счастливо щурясь, а я красовался перед ней, нес чушь, которую она слушала с блаженной полуулыбкой. Так я и не признался ни в чем — берег до восемнадцати.

Потом случились проводы в армию, и Аню не отпустили на празднование, конечно, она же маленькая еще; с горя я нахуярился так, что утром меня пьяного загрузили в автобус к парням и увезли в райцентр. Тогда слово «Чечня» уже звучало на всю страну.

Я никогда не видел, чтобы мама так плакала.

Пути наши с парнями разошлись, и судьбы сложились по-

разному. Антон вернулся домой двухсотым почти сразу. Ему навсегда осталось восемнадцать. Над дверями школы повесили мемориальную доску, могилу похоронили под венками, кто-то приставил к кресту гитару. Дима поседел и замолчал; на Новый год, во время салютов, он падал лицом в снег, прикрывая голову, при виде крови начинал мычать и плакать.

Моя служба шла хорошо, и больше я об этом рассказывать не хочу.

Вернулся я как раз под выпускной; с букетом роз, как принято, сначала отправился к маме — ой, слез было! Я ребенок поздний, желанный — у матери нет никого, кроме меня, и за два года она стала совсем седой, худой и старой. Потом уже в ящике, где хранят вилки и ложки, я нашел снотворное; видимо, вся моя командировка прошла без сна. Вы не подумайте, я и маму тоже люблю: а то по моему рассказу выходит, что это отрешенная и безучастная фигура; напротив, она мне и страсть к чтению привила, и каждый мой шаг благословляла. К тому времени, правда, она уже уволилась из библиотеки и работала в сельсовете на административной должности. В общем, все поменялось в деревне.

Небо окрашивается багряным и золотым, набирает розового, тепло дня уходит, я вручаю маме цветы — и пока вытираю ей слезы, солнце уже давно закатилось, поэтому тороплюсь, даже не сажусь за стол. Выхожу из дома как есть, в военной форме, но без аксельбанта и белых кантов на погонах — «парадки» мне не досталось, демобилизовался я в обыч-

ном, уже выцветшем, камуфляже и выдавших жизнь берцах. К Антону еще успею в гости заглянуть — не сегодня, не завтра, но все там будем, не ночью же на кладбище идти; спешу к дому культуры. Музыка гремит так сильно, что слышно за километр; по ногам стелется ночной туман, окутывает облачками стопы и стекает росой с армейских берцев, пока я пробираюсь через траву, чтобы срезать путь.

Ане я адреса не давал, не хотел, чтобы однажды письма от меня оборвались и она грустила; поэтому знать, когда я вернусь, никто не мог. Если честно, сказать, что я совсем не писал, пожалуй, несправедливо: каждый день, как сейчас, я общался с Аней у себя в голове. Привычка к мысленному эпистолярию родилась там: я рассказывал Анюте о красоте гор, я молился Ане, когда над головой свистели пули, и, если уж совсем становилось тоскливо, я напевал мотив песни об Ане — слова там ужасные, «ревность» рифмуется с «душевность», но мотив мне в самом деле нравился. Он напоминал о доме.

О доме, где все поменялось, и я боялся, что Анюта изменилась тоже.

На крыльце двухэтажного здания уже компания — вышли покурить, воздух рябит сигаретным дымом. Ребята подвыпили, еще бы — выпускной, веселье, — жмут руки, спрашивают: «Ну, как там?», я улыбаюсь, отвечаю: «Да нормально!» Это вы под водой тонете, рыбе без воздуха самый комфорт. Разговариваем долго, каждому интересно, знают же, где слу-

жил, знают, что Антон домой в цинке приехал, но мне правда рассказывать нечего, потому что слишком уж много всего. Отвечаю пространно, в общих чертах, без деталей — вспоминать непросто все-таки. А глаза сами ищут Аню, ее рыжие косы, плечи, покрытые веснушками, ямочки на щеках.

Сердце колотится под кадыком, чувствую, Аня рядом, и вдруг мелькает огонь волос — она бросается мне на шею, едва не сбивая с ног, я тут же вжимаюсь лицом в ключицы, приподнимаю над землей, ладони сами скользят к лопаткам, тянут ближе. Девочка моя, тоже скучала, тоже ждала, тоже верила, что вернусь? Не изменилась ни на йот, только ярче стала! Опускаю на землю спустя долгую вечность, она хватается за руки, подпрыгивает от радости, и я улыбаюсь, как дурачок, — ночь на дворе глухая, а передо мной солнце светит! Звезда зажглась и остается искрой в глазах, и от слез немного в носу щиплет.

— Анюта, — переплетаю пальцы, тяну к себе. Почему-то кажется: можно все! На секунду поверил в чудо, прижимаюсь своим лбом к ее, и она вздыхает грустно. — Что стряслось?

Головой качает — не скажет, ни за что не скажет, всегда о плохом молчит. Я не хочу разжимать ладонь, но люди смотрят — именно пялятся на замок из рук, и я понимаю: не так что-то, видимо, мне нельзя столько нежности показать, а ей — принять; почему, Аня? И Аня не разжимает, поворачивается к ребятам, сердито бросает в воздух.

— Отвалите. Я почти два года друга не видела.

Друга.

Конечно, кого еще? Я смотрю потухшими глазами на лопатки, складку под ребрами, талию, волну волос; Аня, друг не глядит, как я, Аня, друг не оскопил бы отца, который пытался тебя коснуться, друг не жил в аду одной лишь мыслью тебя увидеть — и умереть перед закрытыми воротами рая, Аня, ты же вообще ничего не знаешь.

— Идем, — Аня тянет меня за руку в сторону от ДК, — скоро рассвет встречать пойдут, первые сядем.

Путь занимает время. Шагаем молча, я держу ее руку в своей, сжимаю пальчики, и сердце слишком большое для моих ребер, оно распирает грудь и грозит взорваться. Пока темно, и солнце не родилось, но небо уже розовеет. Рассвет встречают на горе за водонапорной башней, на обрыве — оттуда вид на поле, полное васильков, они просыпаются поутру, раскрываются синие лепестки, тянутся к небесам — синим тоже, — и эта синь отражается в глазах Ани, когда она садится, свесив над глиняной пропастью ноги.

— Я сейчас, ладно? Будь тут только, — прошу я, как будто Аня сейчас соскочит и убежит.

Спускаюсь по склону, притормаживая рукой, и сухая глина крошится под ногой. Безжалостно срываю цветки, стебли трением обжигают пальцы, оставляя на сгибах красные полосы. Поднимаю голову: она болтает ножками, опирается руками в края обрыва, чуть склоняется, чтобы взглянуть на

меня. Звезды тают над ней в предрассветном небе, и она ярче всех горит. Я раскрываю руки, весь мир обнимая; и я этот мир, Аня, к ногам твоим! хочешь — постель из цветов, хочешь — любовь до гроба, Аня, скажи, что хочешь, — все сделаю!

С трудом опускаю взгляд к земле, ослепленный, один, третий, десятый, сотый — возвращаюсь с тяжелой охапкой и сажусь рядом.

— Давай, Звездочка.

Выстилаю позади васильки, стараясь класть цветами кверху, и Аня ложится, — и я следом, но на сухую, холодную землю, что кажется мягче перины. Поворачиваюсь: вздернутый носик, пухлые губки, мокрый трепет ресниц — и мне хочется целовать, чтобы задыхалась, хочется кусать, чтобы кричала, хочется войти, чтобы стонала; мне всего хочется, но всего больше — взять за руку, прижать к груди: Аня, послушай стук и в глаза взгляни, во Вселенной, где зажглись мириады звезд, светишься только ты. Рука находит руку — мои пальцы в мозолях, жесткие, ее — мягкие, нежные, и я цепляюсь за них, как умирающий цепляется за надежду еще пожить.

— Я знаю, где ты был, — обвиняюще говорит она, будто я не с автоматом спал, а с любовницей, — почему не сказал? Я от мамы твоей и узнала, где ты. Антона когда привезли Думала, что все.

— Ты плакала? — эгоистично хочется знать, что горевала,

волосы на себе рвала и не спала ночей. — Обо мне, имею в виду.

Она чуть поворачивается, ударяет шутливо кулаком в грудь, снова возвращается на цветы, как на перину, уже рассерженная, морщит носик, но свою руку из моей не убирает — рада все-таки, что живым вернулся. Я возвышаюсь над ней, сгибаю руку в локте, опираюсь виском на ладонь, изучаю лицо — и не дай бог мне в глаза всмотреться, там же такая тьма, там такая нежность, там все ответы: и почему молчал, и почему вернулся и первым делом — к ней.

— Анюта — если сказать, то сейчас, иначе я снова струшу. — Ты не пугайся только

— Не говори ничего, — она приподнимается на локтях, мы едва не сталкиваемся носами. — Я в город переезжаю. — Взгляд отводит, и сердце мое вдруг становится крошечным, вдруг бьется мелко, и мне так страшно еще никогда не было, хотя я ад прошел. — К Максиму.

Падаю на лопатки, и земля спину бьет твердым мрамором, и тело мое, набитое кирпичами, рассыпается в крошку. Небо синее, темный бархат, что-то горячее, мокрое стекает с виска, снова кровь? снова грязь во рту? снова умер, песком присыпанный? Небеса размываются пеленой, и я стыдливо пястью стираю влагу. Мне не двадцать, нет, я мальчишка снова, я кричу в подушку и охрип от слез. Слышу шорох, она ложится в свою постель из сорванных васильков, голос глухой, виноватый тон.

— Я учиться хочу. Вырваться из этого Ты не понимаешь. Тебя мама любит. У вас дома еда есть. Максим сказал, что учебу в меде оплатит Если мы вместе жить начнем. Мы вроде Ну Вроде встречаемся.

Сколько пауз, в которые она подбирает слова, чтобы меньше ранить, только какая разница нож всадить до ручки или замереть посередине?

— Ты его любишь? — выходит шепотом, я на смертном одре лежу, приговоренный к казни; я жду расстрела.

А меня?

Аня сворачивается клубком, упирается лбом в плечо, плачет, я знаю точно, но она никогда, никогда не покажет слез.

— Пообещай, что не сделаешь ему ничего.

«Сохрани мое нормальное будущее», — вот что она говорит, и я улыбаюсь ей так, что боль скулы сводит: ничего, так ничего, если хочешь, чтобы ничего навсегда осталось, я же, Аня, сделаю.

Все для тебя сделаю.

Пальцем не пошевелю, и его не трону. Прикрылась моими чувствами, как щитом: если уж ты просишь о таком, значит, ты понимаешь, значит, осознаешь, что сказать хотел, поэтому прервала. Осознаешь — и все равно, блять, просишь, беспокоишься о другом — и Аня, хотя в этот момент я все еще люблю тебя, но как же

я тебя ненавижу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.